

НАРОДНЫЙ РОМАН

ВИЛЬ
ЛИПАТОВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ



Виль Владимирович Липатов
Деревенский детектив.
Рассказы, повесть
Серия «Народный роман»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40121637

*Деревенский детектив:
ISBN 978-5-4484-7701-0*

Аннотация

Книга замечательного русского писателя Вилия Владимировича Липатова «Деревенский детектив» об участковом оперуполномоченном Федоре Анискине – это захватывающие и вместе с тем добрые, немножко грустные, а где-то веселые истории. Тонкий лиризм, потрясающая глубина характеров героев и совершенно неподражаемый колоритный язык повествования заставляют читать и перечитывать книгу снова и снова. А образ Федора Анискина, воссозданный на киноэкране блестящим актером Михаилом Жаровым в одноименном фильме, помнит и любит не одно поколение российских читателей.

Содержание

Генка Пальцев, сын Дмитрия Пальцева	4
Луна над Обью	33
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Липатов Виль Владимирович Деревенский детектив

**Генка Пальцев, сын
Дмитрия Пальцева**

1

Милиционер Анискин считался самым толстым человеком в деревне. Директор маслозавода Черкашин весил сто пять килограммов, но участковый уполномоченный был на голову выше его, намного толще, хотя, сколько весит он, никто не знал, так как сам Анискин говорил: «А ты попробуй, взвешай меня!» Несмотря на полноту, участковый по деревне ходил быстро, особенно в прохладные дни, с людьми поговорить любил, а директора маслозавода Черкашина терпеть не мог.

В деревне Анискин работал бог знает сколько времени, в каком находился звании, жители не помнили – участковый раз в три года надевал форму, да и то тогда, когда ез-

дил в район. Это объяснялось его грандиозной толщиной, и участковый говорил: «Если я буду каждый день форму носить, то мне никакой зарплаты не хватит!» Летом Анискин ходил в широких хлопчатобумажных штанах, в серой рубашке, распахнутой на седой волосатой груди, и в тапочках сорок шестого размера; в грязь он носил кирзовые сапоги, а зимой влезал в серые валенки, от которых его ноги действительно походили на слоновьи.

Когда участковый зимой шел в валенках вдоль деревни, то снежный скрип слышался от околицы до околицы, и деревенские женщины, прислушавшись, говорили: «Шесть часов времени, надо квашенку заводить!» Летом участковый поднимался в половине седьмого, и его путь по деревне отмечался запальным дыханием. С пяти-шести часов вечера до восьми участковый спал, а потом распивал чай вприкуску: летом – во дворе, а зимой – в маленькой кухоньке, где на стенке висели цветные фотографии из «Огонька».

Жена участкового, наоборот, была худа, голос имела тихий и ровный, глаза монгольские и называлась, конечно, Глафирой. Она нигде не работала и потому считалась в деревне аристократкой, хотя никто и никогда не видел ее сидящей без дела – она с утра до вечера трудилась. Глафира содержала огород, разводила живность, собирала орехи, грибы и ягоды, но милицейский дом зажиточностью не славился – кроме самого Анискина и Глафиры, в нем всегда было несколько едоков, да приходилось посылать деньги то одному сыну,

то второму, то дочери, так как детей участковый старался учить долго. Дети у Глафиры рождались легко, розовощекие и здоровые...

В лето 196... года приблизительный вес Анискина оценивался в сто двадцать килограммов – не больше и не меньше обычного. Так что душным июльским днем, часа в четыре пополудни, когда оставалось немного времени до сна, участковый спокойно шел себе длинной улицей деревни и старался прижиматься к высокому обскому яру, чтобы лицо обдувал тенистый ветерок. Река текла мирно на север, кружились бакланы, скрипя уключинами, перебиралась на противоположную сторону лодка-завозня. Река была как река, небо как небо, а под яром, фыркая, точно лошади, купались ребятишки. Увидев на крутояре громадную фигуру Анискина, они загалдели пуще прежнего, принялись обливаться водой и бегать.

– Целый день сидят в воде, это надо же придумать! – остановясь, сказал участковый. – Это надо же придумать...

Прицикнув пустым зубом, он достал из кармана носовой платок, внимательно посмотрел на него, подумал и, широко расставив ноги, нагнулся. Участковый поднял с земли кровавый обломочек кирпича, обмотал его платком и, по-бабьи размахнувшись, бросил сверток под яр.

– Намочите! – крикнул он ребятишкам. – У меня голова не чугунная...

Когда платок упал к воде и ребятишки наперебой броси-

лись к нему, участковый неторопливо выложил руки на пузо, склонил голову на плечо и начал туда-сюда покручивать большими пальцами. Глаза у Анискина выкатились по-рачьи, шея исчезла, он медленно-медленно, точно его придерживали, обернулся к человеку, который стоял за его спиной.

– Ну? – тихо спросил Анискин. – Ну?

– Стою! – так же тихо ответил человек. Ему было лет двадцать пять, были на нем клетчатая рубаша и брюки-галифе с сапогами, сидела на голове серая кепка, но весь – с головы до ног – он был не таким, каким должен быть человек в клетчатой ковбойке. Стекала с лица парня бледная унылость и хворь, из вырубленных худобой глазниц запально глядели иконные глаза невыразимой красоты. Но диво дивное, чудо великое начиналось ниже – немогущую эту голову, тонкую ребячью шею подпирал могучий торс борца; неохватные ширились плечи, выпирала могучая грудь, стояли канцелярскими тумбами короткие ноги, а на голых руках – неизвестно для чего, неизвестно почему – вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы. Жило тело парня отдельно от головы, принадлежали голова и тело разным людям. «Ну и ну! – тихо подумал Анискин. – Ну как две капельки воды похож на своего отца Митрия! Ну и ну!»

– Чудной ты, Генка! – тоскливо прищипнув зубом, сказал участковый. – Лицо у тебя ангельское, а тело волчье...

– Разве я в том виноватый, – жалобно ответил Генка. – Разве это моя вина...

– Должно быть, виноватый, – задумчиво сказал Анискин. – Был бы невиноватый, я с тобой по такой жаре не валандался бы.

Покручивая пальцами на пузе, участковый блестящими глазами смотрел на Обь, затаенно побряхтывая, и река отражалась в глазах – расплавленная на солнце вода и лодка на ней, старый осокорь на крутояре, пологая излучина и ребятишки, что, карабкаясь руками и ногами по желтой глине, уже поднимались наверх. Первым вскочил на кромку земли самый бойкий и веселый из них, с мокрым платком в руке бросился к участковому и закричал восторженно:

– Намочил, намочил, дядя Анискин!

Но участковый еще несколько секунд стоял неподвижно, набычив шею и расставив ноги. Мальчишка с платком притих, согнав с лица улыбку, пошел к участковому на заскорузлых пальцах мокрых ног. Мальчишка осторожно потрогал его за выставленный локоть, подняв голову, заглянул участковому в лицо, и, расцепив руки, Анискин одну из них положил на плечо парнишки.

– Ах, Виталька ты, Виталька Пирогов, – сказал участковый. – Виталька ты Пирогов, Ванюшки Пирогова сын...

Потом Анискин выпрямился, приняв от мальчишки платок, сухо сказал:

– Ты, Виталька, вали купаться, а ты, Генка, завяжи платок сзади... Мне-то не видать!

Генка – парень в ковбойке и в сапогах, – дыша осторожно

и запально, завязал платок на затылке участкового, отошел в сторонку и опять притих, так как Анискин блаженно зажмурился и зябко повел плечами. С плохо выжатого платка вода текла на широкий нос участкового, струилась по груди, заросшей седыми волосами, стекала на траву.

– Господи! – простонал Анискин. – Как хорошо-то!

В платке с четырьмя узелками походил участковый на восточного первобытного бога.

– Вы бы искупались! – сказал Генка.

– Сам купайся!

И опять спокойно, по-слоновьи нелепо переставляя ноги, пошел по улице участковый – глядел в землю мрачно, думал тяжело и напряженно, заметно сутулился, хотя при грандиозной толщине сутулым, конечно, не был. Не поздоровавшись, а только чуточку шевельнув бровями, он миновал деда Крылова, с палкой сидящего на лавочке, не поглядел на окна колхозной конторы, не улыбнулся женщине, которая с полными ведрами шла навстречу. Безмолвно и грозно прошел участковый через половину деревни к тому дому, где находилась милицейская комната. Возле калитки Анискин остановился, запустив руку меж досками, чтобы открыть вертушку, замер.

– Ну, на какой хрен, Генка, ты есть такой? – тоскливо спросил он. – Вот на что ты есть такой, Генка?

Было так тихо, как может быть на краю деревни, где сразу за домами начинаются луг, кедрачи и мелкие березы, что

уступами поднимаются к кладбищу; где к последнему дому подбегает веселый ельник, деревья которого похожи на воинов в монгольских остроконечных шапках, а желтые шишки горят чешуйками на кольчугах.

– Пройдем! – тихо сказал участковый. – Пройдем!

Зайдя в темноватую комнату, Анискин приказал Генке встать у дверей, сам сел на табуретку и выложил на стол пудовые руки, сплошь покрытые светлыми волосами. Несколько мгновений участковый сидел неподвижно, затем по-милицейски выкатил глаза и с придыханием произнес:

– А?!

– Мне бы три дня пересидеть, – сказал Генка. – Мне бы только пересидеть до парохода вниз... Три дня!

– У тебя губа не дура, Генка, – подумав, ответил участковый. – Конечно, в понедельник придет «Пролетарий», так тебе и остается два дня, чтобы на нем смыться... У тебя губа не дура! – повторил он и вдруг оглушительно крикнул: – Садись! Садись, страма!

Вторая табуретка стояла в углу, и, заметив ее, Генка пошел садиться – шиворот-навыворот ступали звериные ноги, непонятно замедленно плыла литая спина, сама собой, отдельно от туловища, двигалась к табуретке голова. Плавными, округлыми были все движения Генки, а сев, он изящными движениями положил руки на колени, по-детски вздохнул и посмотрел на участкового преданными, ласковыми, сияющими глазами. Он так посмотрел на Анискина, что участ-

ковый поежился, как от холодной воды, и печально сказал:
– Истинный ты бандит, Генка... Через всю кабинету прошел, а ни одна половица не скрипнула.

Голодные, сновали по стенам милицейской комнаты черные тараканы; их было много, очень много, но в обычные дни участковый Анискин на тараканов внимания не обращал, а только извинялся за них перед посетителями и улыбался при этом. Сегодня же на тараканье царство участковый посмотрел зло, прищурился колюче, хотя по-прежнему всматривался в самого себя. Что-то в себе самом пытался разглядеть Анискин, но не мог и от этого страдальчески морщился.

– Ты бы рассказал, Генка, чего набедокурил? – вдруг вежливо спросил участковый. – Только ты уж не ври, касатик, а?

– Ой, мама родная, – обливаясь ласковой влагой, проникновенно прошептал Генка, – да когда я вам врал, дядя Анискин, да когда это было со мной, чтобы я вам врал...

– Всегда! – ласково ответил Анискин. – Всегда, родной!

– Ой, да неверно, да неверно! Я, может, когда по мелочам что и врал, а по-большому я завсегда правду говорил, так как скрытности во мне сроду не было, такой я от родной моей милой мамочки прирожденный, что на вранье не способный и во всем перед вами, дядя Анискин, открытый...

Генка Пальцев пел да пел, помаргивал да помаргивал библейскими ресницами, а участковый Анискин все дальше и дальше уходил от него. Вот уж совсем далеко-далеко дрожал зауспокойный голосок Генки, застилались туманом его слова;

частой, как бы комариной сеткой весь покрывлся он – уже не с Генкиного лица стекали бледность и хворь, не его тело и голова жили отдельно друг от друга, а Генкин отец – Дмитрий Пальцев – сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы и под участковым вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол... Пахнуло сырой прелью оврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; заболел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды...

– Тихо, тихо... – шепотом сказал Анискин и сделал рукой такое движение, точно хотел убрать с лица несуществующую паутину. – Тихо...

Они молчали минуту. Потом участковый спросил:

– Что ты сделал на хуторе, Генка?

– Бочата снял с парикмахерши, – ответил Генка. – Золотые...

– Ну!

– Она запищала, дядя Анискин, – еле слышно сказал Генка, – тогда я ее немного придушил...

– Насмерть?

– Ой, да наверное, как вы можете подумать такое, дядя Анискин, зверь я или человек, чего бы я стал ее насмерть из-за часов-то... Вы всегда что-нибудь придумаете, дядя Анискин, такое придумаете, что даже подумать страшно, не то что

выговорить, прямо обидно мне на все это...

Генка пел все тише, паузы между словами делал все длиннее и понемногу вытягивал ноги, распластываясь на табуретке. Он все утишивал и утишивал голос, пока не перешел на шепот, так как участковый смотрел на Генку неподвижными задумчивыми глазами. Из них на Мальцева текло невидимое, но осязаемое, связывало Генку по рукам и ногам; в глубь Генки и через него смотрел Анискин, в печенки и селезенки.

– Ну ладно! – сказал участковый. – Теперь я все про тебя знаю, Генка... Все знаю, ровно и не получал из райотдела телеграмму, чтобы задержать особо опасного рецидивиста... Понял, не из телеграммы узнал, а от тебя самого...

Генка теперь сидел на табуретке так, словно лежал – сползли с колен перевитые мускулами руки, обвисли ноги-тумбы, заострился славянский нос. Потом Генка по-рыбы хватил ртом воздух:

– Когда пришла телеграмма?

– Третьего дня... Не думал я, что ты такой дурак!

Брезгливо, страдальчески поморщившись, участковый прищелкнул зубом и поднялся с табуретки с таким видом, как поднимается человек, которому давно надо было сделать это, но он не решался. Встав, Анискин подошел к русской печке, снял с шестка коробку с надписью «Дуст» и, вынув из нее щепотку серого порошка, посыпал припечек.

– Парикмахерша жила еще два часа, – приглушенно ска-

зал участковый. – Ты зачем, Генка, фонарик засветил, когда ее душил?.. Дура ты, дура!.. Да с такой мордой, как у тебя, по карманам шарить нельзя, не то что по мокрому делу... Вот женщина и опознала твою фотографию... Теперь тебя, Генка, расстреляют! Это бесприменно надо произвести! – Участковый тоскливо покачал головой. – Я тридцать два года работаю в деревне милиционером, а убийц еще не было... Драки бывали, воровство случалось, а убийц... Ты первый, Генка!

– Не задерживай меня, дядя Анискин, не отдавай райотделу, – жалобно и страстно попросила Генкина голова. – Не отдавай!

Деревенская слышалась тишина: ни звука не было, ни привязочки, на которой мог бы отдохнуть напряженный слух. И только шуршали, шуршали за припечкой тараканы.

– Я никого из своих деревенских зря райотделу не отдавал, – негромко сказал участковый. – Ты вспомни, Генка, кого из деревенских я зря райотделу отдал?

– Никого! – набухнув, прошептали жаркие Генкины губы. – Никого...

– Тебя я, Генка, возьму, – еще тише продолжал участковый. – Я бесприменно тебя должен взять, но я тебе дам такое условие, через которое ты можешь спастись и стать человеком, если превозмогешь трусость... А если она, трусость, сильнее тебя, Генка, то тут тебе – гроб!.. Так что решай – принимать тебе условие или нет...

– Какое условие?

– А вот какое!

Анискин прошелся по комнате, опершись руками в наличники, посмотрел на улицу. Увидел он светлую от солнца Обь, синие кедрачи за ней, а за кедрачами – пустоту; полтора километра было от берега до берега реки, но еще больший простор расстился за нею, так как за Обью начинались Васюганские болота; начинались и шли на десятки, сотни километров, ровные и унылые. Над болотами тучей висело смрадное комарье, жалобно пищали длинноногие кулики, и солнце торчало на одном месте, словно его остановили.

– Слушай мое условие, Генка! – сказал Анискин. – Даю тебе срок до двенадцати ночи или, как говорят райотдельские штукари, до ноль-ноль часов... Уходи ты до этого срока из деревни. Ты меня не видал, я тебя не видел... Уходи, Генка!

– Обласок дашь? – одними губами прошептал Генка. – Обласок...

– Ни лодку, ни обласок не дам! – жестко ответил участковый. – Ты сам знаешь, что я к ним приставил охрану... Пешком уходи, Генка!

Опять не сидел, а лежал на табурете Пальцев, но был уже повернут лицом к окну, где лежала Обь, кедрачи за ней, а за кедрачами...

– Это ведь все равно расстрел... – прошептал Генка.

– А ты как думал! – не сразу отозвался участковый. – Ты что думал, когда душил мать двух детей?.. Но иди в болота,

бог с тобой! Выйдешь живым – человеком сделаешься, погибнешь – тоже правильно будет. Сам ты теперь над собой хозяин, Генка... На этом наш разговор оконченный!

Онемев, Палецев не шевелился – лежали перекишим тестом на костяке мускулы, стекали на грудь звериной тоской глаза русской богородицы.

– Страшный ты, Генка, – прищипнув зубом, сказал Анискин. – Каждый человек от страха бледнеет, а ты краснеешь, ровно хватил стакан водки...

Минут через пять Генка с табуретки встал, запинаясь ногами одна за одну, пошел к двери.

– Финач есть? – вдруг вежливо спросил Анискин. – А, Генка!

– Ну, чего же ты такое говоришь, дядя Анискин? – в дверь запел Генка. – Откуда у меня может быть финач, вот придумаете же такое, что и подумать невозможно, что даже обидно...

Он пел и пел, но участковый не слушал – он глазами приник к телу Пальцева и удовлетворенно качнул головой, так как по спине Генки, от плеч к бедрам, а от бедер – к левому карману галифе прокатилась быстрая волна.

– Сволочь! – восхищенно сказал Анискин. – У тебя ведь в левом кармане пистолет, Генка... Ну, совсем сделался серьезный рецидивист!

Старый осокорь на берегу шелестел по-дневному, Обь в синеве густела, под яром не купались ребяташки, так как шел шестой час и уже слышалось, как на ближних покосах погуживали машины и покрикивали бабьи голоса: так бывает к вечеру, когда воздух делается прозрачным и легким. Он доносит до слуха каждый звук, и если в деревне тихо, то можно слышать пароход, который шипит за дальней излучиной Оби, крик бакланов за отмелью, до которой шесть километров, и стон кукушки в березах.

Тихо было в деревне, и участковый Анискин неподвижно стоял посередине дороги, сложив руки на пузе и медленно покручивая большими пальцами, думал: «Вот ведь до чего выдался тяжелый день, что и не знаешь, куда ногой ступить...» Он еще минуточку постоял на пыльной дороге, потом, сам себе согласно кивнув головой, пошел к тому дому, что был сложен из сосновых брусьев и в котором жил учитель восьмилетней школы Филатов. Анискин приблизился к дому, но во двор заходить не стал, а подшагал под открытое окошко. Участковый прислушался и думающе наморщился, так как не мог понять, что за звук раздается в комнате, затем вдруг широко улыбнулся.

– Владимир, – позвал Анискин. – Ты бы выглянул на час... Мне с тобой побеседовать охота.

Комариный писк электрической бритвы затих, досадливо проскрипел венский стул, все убыстряясь, пробежали по полу шлепки босых ног, и учитель Филатов высунулся в окошко. Маленький, осыпанный солнечными пятнами, как веснушками, он отворачивал от участкового левую недобритую щеку.

– Доброго здоровья, Владимир Викторович! – поздоровался Анискин. – Бреетесь?

– Здравствуйте, товарищ участковый! – нехорошим голосом ответил учитель и повел худой рукой. – Прошу заходить в дом.

Но участковый Анискин в дом учителя Филатова не пошел, а сделал еще шаг к окну и внимательно посмотрел в лицо Владимира Викторовича. Левая щека у математика была, конечно, недобрита, но это было пустяком по сравнению с тем, что веки у него припухли, как от пчелиного укуса, щеки были одутловаты и синюшны, а пальцы рук так дрожали, что электрическая бритва, зажатая в них, больно ударялась о подоконник. Заметив это, Владимир Викторович криво улыбнулся и спрятал бритву за спину.

– Владимир Викторович, а Владимир Викторович, – сказал участковый. – Ты присядь на окошко, а я рядом постою...

– Спасибо! – хрипло ответил учитель. – Спасибо, но садиться на подоконник я не буду...

Он хорохорился, учитель Владимир Викторович, но посмотреть прямо в глаза Анискина не решался, пользуясь тем,

что левая щека недобрита, отворачивал голову все круче и круче от участкового, пока не отвернулся совсем. Теперь стало видным его правое ухо, просвеченное солнечными лучами и от этого красное, как плакатный кумач. «Ну до чего хороший парень, этот учитель!» – затаенно улыбаясь, подумал Анискин.

– Это ты хорошо скумекал, Владимир Викторович! – весело сказал участковый. – Это ты здорово смикитил про электрическую бритву...

– Простите, товарищ Анискин, не понимаю...

– А чего уж тут понимать, – ответил участковый и вдруг сделался серьезным. – Тут и понимать нечего...

Приглушенным, как вечерняя деревня, стал участковый Анискин – тоже отвернувшись от учителя, прислонился спиной к брусчатой стене, руки опустил, голову склонил на плечо. Дышал он трудно и с присвистом, кожа лица серела, а ворот рубахи широко распахнулся на седой груди. Таким был участковый, каким давно не видели его в деревне, и учитель Владимир Викторович покосился на него.

– Бессонница у меня, Владимир Викторович, третий день бессонница, – тоскливо вздохнув, сказал Анискин. – Третью ночь не сплю, по улице хожу и свою жизнь наизнанку перевортываю... Я как шубу себя вывертываю, Владимир Викторович, и нет мне от этого сна-покоя. Чего-то жалко, чего-то боязно, чего-то охота... Собаки лают, луна светит, Обишка себе течет... Тоска меня берет, Владимир Викторович, когда

глазами себе за спину гляжу... – Он помолчал секундочку и, прищипнув зубом, добавил: – Это у меня оттого, Владимир Викторович, что большое несчастье на деревне приключилось...

Подняв голову, Анискин насильственно улыбнулся, поправил пальцами седые волосы и постоял еще немножко в тишости – точно из дальней дали, из бесконечной непонятности возвращался участковый к дому из свежих брусьев, к окошку, к учителю Владимиру Викторовичу, на которого смотрел невидящими глазами. Медленно-медленно возвращался Анискин, но вернулся все-таки.

– Я ведь что про бритву-то болтал, – непонятно улыбнувшись, сказал он. – А то, Владимир Викторович, что электрической бритвой, конечно, бриться с похмелья сподручнее, чем опасной... Не порежешься, если руки дрожат...

– Товарищ Анискин! – сказал учитель. – Товарищ Анискин!

– Шестьдесят лет товарищ Анискин, – сухо ответил участковый. – А только я тебе, Владимир Викторович, всю правду скажу, раз у меня сегодня такой тяжелый день... Я, может быть, вчера бы и промолчал, но вот сегодня... Ты это чего пьешь и по ночам свою учительшу ругаешь? – гневно спросил Анискин и по-рачьи вытаращил глаза. – Это ты какое право имеешь по шестьсот грамм водки за вечер выпивать и с родной женой ругаться?..

– Я не хочу отвечать на ваши вопросы, – сказал Влади-

мир Викторovich и саркастически улыбнулся. – Не кажется ли вам, что вы переоцениваете свои права и обязанности?

Владимир Викторovich уже не отстранял от участкового лица, снова вынул из-за спины дрожащие руки, как гусак вытянул тонкую шею и шипел по-гусаковски. Маленький он был, тщедушный, и, поглядев на него повнимательней, Анискин про себя улыбнулся и подумал: «Вот так всегда бывает: чем не плоше мужичонка, тем с бабой ведет себя ругательней!» Однако вслух участковый не улыбнулся, а покачал головой и сказал:

– Ты только не думай, Владимир Викторovich, что мне твоя учительша пожаловалась. Ты ее оставь с краю, так как я сам ночью твой скандал слышал, когда под луной шатался... Большой был скандал, Владимир Викторovich, далеко от твоего дома слышный...

После этих слов Анискин отошел от раскрытого окна и сел на чурбачок, что был отрезан строителями от толстого бруса. Солнце освещало участкового сбоку, большой желтый квадрат лежал на его спине, и казалось, что это не солнечный блик, а желтая заплатка. Он молчал, как молчал и учитель – голова у Владимира Викторovichа все еще была задрана гордо, глаза прищурены, но уже на синюшные от вчерашнего перепоя щеки напал румянец, а губы так дрожали, точно с них рвались слова.

– Я ведь знаю, отчего ты начал пить, Владимир Викторovich, – совсем тихо сказал Анискин. – Тебя этот пьянюга Чер-

кашин каждую субботу к себе затаскивает, поит чем попало и жалится тебе на то, что его зазря с колхозных председателей спихнули... – Участковый горько хмыкнул. – Черкашин – человек злобный, вредный, и ты на него, Владимир Викторович, начинаешь походить...

– В чем же? – спросил учитель. – Нельзя ли поточнее...

Он опять криво улыбнулся, этот учитель Филатов, пожал иронически плечами, хотя и видел, что до странности необычным, на себя непохожим был участковый, – не поплясывали в серых глазах Анискина желтые искорки, не говорил он задумчиво: «Так! Эдак!» – не поворачивал лицо к светлой Оби, чтобы обдувал щеки прохладный ветер.

– Ты в том Черкашину стал родной брат, Владимир Викторович, – протяжно сказал участковый, – что в людях видишь одно плохое... Потому и жену материшь, потому и в твоём классе по арифметике семь двоек, хотя по русскому – четыре... Ты на три двойки хуже о людях думаешь, чем Евгений Самойлович, что русскому языку ребятишек учит...

Анискин замолчал – лежала желтая заплатка на спине, большие и заскорузлые, висели руки, чернел меж раздвинутыми губами пустой зуб. Секунд десять сидел молча участковый, потом вдруг неярко улыбнулся.

– И ко мне ты стал несправедливый, Владимир Викторович, – сказал он. – Ну, вот за что ты меня в ту субботу при Черкашине унтером Пришибеевым назвал?.. Черкашин на меня злой, что я его пуще других с председателей уводил,

так неужто ты для его радости меня унизил... Ведь ты раньше ко мне, Владимир Викторович, справедливо относился.

Анискин от земли голову не поднял, но по звукам из окна понял, что учитель математики прикусил нижнюю губу, неслышно положив бритву на подоконник, сжал пальцами теплое от солнца дерево. Точно наяву увидел участковый, как покраснело маленькое лицо Владимира Викторовича, повлажнили от стыда его темные глаза и как перестали трястись от волнения его похмельные руки.

– Федор Иванович... – прошептал математик. – Федор Иванович...

– А вот Федор Иванович я лет двадцать, – улыбнулся участковый. – Сначала Федюнькой звали, потом – Федькой, потом – Федором...

Участковый встал с чурбачка, медленно заложил руки за спину, но вдоль улицы не пошел, а в первый раз за все это время повернул лицо к сияющей Оби. Струился от нее, конечно, легкий ветер, пропитанный влагой, обдувал щеки участкового, открытую грудь и могучую шею. И тот же обский ветер ерошил волосы Анискина, которые были сплошь седы, но оставались густыми, как в далекой молодости.

– Я, Владимир Викторович, – сказал Анискин, – на тебя за унтера Пришибеева не обижаюсь теперь – молодой ты еще и глупый. Ты еще не понимаешь, в какое лучшее время живешь... Ведь раньше-то за унтера Пришибеева... – Участковый вяло махнул рукой. – Эх, да что говорить, Владимир

Викторович!.. Молодо еще, зелено!

Не посмотрев больше на учителя, не обернувшись ни разу назад, участковый пошел длинной улицей деревни – держал ноги косо-косо, сандалиями оставлял на пыльной дороге круглые следы, через два шага на третий покачивал головой. Двигался Анискин неторопливо, но шаг у него был емкий, и вскоре он скрылся в розоватом свете солнца.

3

Как всегда, участковый проснулся около восьми часов вечера, открыл глаза, полежал немножко в тишине и неподвижности, прислушиваясь к звукам дома, – похаживала по тугим половицам Глафира, шепталась с подругой в соседней комнате младшая дочь Зинаида, поревывала в хлеве стельная корова. Под ситцевым пологом стояла жарница, духота, но Анискин не вспотел, так как во сне движений не делал.

Думалось участковому о разной разности – у Колотовкиных потерялся теленок, пятый день нету; Мурзины ждали сына из армии в отпуск, и потому вполне свободно могли настраиваться на варку самогона; в первой бригаде колхоза запропастились две бороны – старых, но ловких для конской запряжки; у Панки Волошиной опять ночевал Ванька-тракторист, парень на двадцатом году, которого родители собирались женить; рыбак дядя Анисим приторговывал на сторону запрещенной к лову стерлядью... Много всякой всячины

лезло в голову Анискину, но только теперь участковый признался сам себе в том, что весь этот день с утра и до вечера непрерывно и тяжело, как река обкатывает камень-голыш, ворочал он в своей большой голове простой вопрос: «Уйдет или не уйдет?»

Шел ли Анискин к дому учителя Владимира Викторовича, говорил ли с ним, вспоминал ли прошлое, заваливался ли спать – маячило в мозгу неотступное: «Уйдет или не уйдет?» Но если раньше Анискин об этом не думал открыто, мысль о Генке насильственно гнал от себя, то теперь, под пологом, в прохладности покоя, он подумал о Пальцеве во всю силу. И как только он начал думать об этом, то понял, что и его приход к учителю, и торопливый сон под пологом, и вот теперешнее бессмысленное лежание – все было трусливым уходом от Генки Пальцева.

На последней мысли участковый застрял надолго – вздымал и ворочал ее неотступно, впитывал и отбрасывал, чтобы снова неотступно вьестся. Тысячи нитей уходили в прошлое, разили и ласкали, баюкали и будоражили; Анискин то как бы вывертывался наизнанку, то как бы собирался в комочек. Как баран в новые ворота упирался в мысль Анискин и оказывался в хороводе непонятности. «Мать твою перемать!» – наконец выругался он полушепотом и тут только заметил, что покрыт липким потом. Думая о Генке, он, оказывается, ворочался в постели, делал ненужные движения руками и ногами.

– Глафира! – звучно позвал Анискин.

Никто не отозвался, шаги не прозвучали, но в разрезе полога вдруг показалось смугло-цыганское лицо, сверкнули угрюмоватые глаза:

– Но!

– Просыпаюсь – самовар ставь!

– Самовар давно вскипелый.

Глафира исчезла так же бесшумно, как и появилась, и Анискин сердито погрозил ей вслед пальцем. «Вечно все знает!» – подумал он, сбрасывая ноги с кровати и попадая ими в разношенные сандалии.

В доме перекатывалась из комнаты в комнату тишина, обычная, но неприятная для Анискина – по вечной его занятости получалось так, что жизнь семьи проходила для него незаметно, не вокруг него, а на отдаленной параллельности. Хорошо это было или плохо – об этом никто не задумывался, так как участковый Анискин не только для своей семьи, но и для всей деревни жил тайной, непонятной, необычной жизнью. Он был так же загадочен, мало похож на человека, как тот высокочинный генерал, что все сидит и сидит в своем кабинете.

Сегодня Анискин чаевничал, как всегда, один – блаженство, восторг, удовольствие откровенно читались на его покрасневшем лице. Все было так, как обычно, но пил чай участковый не на дворе, а в кухоньке. И зная, что живые сутки мужа крутятся в доме вокруг трех сидений за столом: во-

круг завтрака, обеда и ужина, пришла в кухню и села напротив мужа жена Глафира. Спокойно, отдыхая, тоже с блаженством на лице сидела она. Странно это было, невозможно, но худая, мосластая Глафира чем-то походила на полного мужа – то ли манерой глядеть, то ли прихмуром бровей, то ли мужской складкой на переносице.

– Помидоры кончила полоть? – скосив глаз, спросил Анискин.

– Но.

Потекли длинные уютные минуты – Анискин пил стакан за стаканом, хрустел сахаром, смачно отгрызая зубами кусочки сала, и отдувался на обе стороны. Молчала и Глафира, глядя в пол, но ухо, прямая прядь черных волос, загнутый палец босой ноги – все говорило о том, что хорошо, блаженно сидеть ей рядом с мужем.

– Ботинки Федьке купила? – протяжно спросил Анискин.

– Но!

– Это почему же?

– Они почто ему из свиной кожи-то!

Опять постояла особая, принадлежащая только анискинскому дому тишина. Участковый послушал ее, хотел что-то сказать, но раздумал и махнул рукой.

– На той неделе куплю Федьке ботинки! – поняв его, сказала Глафира. – Продавщица Дуська как узнала, что Федьке надо, так заказ на район послала. Ты ее опять прижимаешь?

– А сдачи не дает ребятишкам!.. Третьего дня Петьке Су-

рову три копейки недодала.

– А Дарьиной Люське целый пятак! – подумав, сказала Глафира.

– Пятак? – Анискин поставил стакан на стол, грузно повернулся к жене. – Пятак?

– Но. Она думает, что если я полаилась с Дарьей, то про пятак не узнаю. А Дарья не будь дура – приди и скажи. «Мы, говорит, хоть с тобой и полаились, но пятак ребенку недодавать – это наглость надо иметь!» Дуська-то, поди, знат про это, то и торопится Федьке ботинки раздобыть.

– Я это дело на карандаш! – улыбнулся Анискин и покачал головой. – Ох, уж эта Дуська, Дусенька, Дусек! Куда ей деньги-то?

– Пальто ново справлят! Три-то воротника шалевых привозили, так она один ведь взяла...

– Про то я знаю.

– Что же тогда спрашиваешь, на что деньги? Думаешь, у ней воротник на третий год пойдет лежать?

– И все-то ты знаешь! – внезапно строго сказал Анискин и отвернулся от жены, которая, однако, никак не отреагировала на его изменившийся голос – сидела такая же блаженная и счастливая. Она только еще глубже стала смотреть в пол, ниже нагнула тонкую жилистую шею. Улыбка вдруг пробежала по ее впалым щекам.

– У Федьки-то уж тридцать девятый размер! – сказала она.

– А ты сороковой возьми! – после паузы отозвался Анис-

кин. – Сама, поди, сообразила!

– Но.

И опять в молчании застыла комната. Анискин выпил еще два стакана чаю, потом решительно повернул пустой стакан, пружинисто поднялся. Стол и табуретка закрипели, заныл под слоновой тяжестью пол, встрепенулась, но снова замерла Глафира, которой не хотелось прерывать блаженные минуты безделья.

– Счас без пятнадцати девять! – сказал Анискин. – Пойду в колхоз – крупные делишки есть. Ты мне спать в сенках постели.

Он вытер полотенцем вспотевшее лицо, бросил полотенце на подоконник и пошел косолапо к дверям. Шел он неторопливо, как ходил всегда, и Глафира тоже не изменила положения – сидела на стуле, низко опустив голову, но, видимо, по звуку шагов поняла, что муж уже подходит к дверям.

– Анискин! – позвала Глафира.

– Но.

– Ты бы, Анискин, взял пистолет-то! – очень тихо сказала Глафира.

Анискин остановился в дверях, медленно, словно собранный на тугих шарнирах, повернулся к жене. Думал он недолго.

– Не возьму! – махнув рукой, сказал участковый. – Я его убивать не собираюсь!

Без пятнадцати двенадцать луна высоко висела над деревней, лунные тени укоротились так, что уже не шли за ногами Анискина, луна от желтизны походила на кусочек недорогого янтаря, вправленного в темную ткань звездной расцветки. Прохладной, светлой и легкой вызрела обычная нарымская ночь.

В темени Анискин чувствовал себя превосходно – не болело сердце, не ныли ноги, не схватывало под ложечкой сосущее чувство угасания; здоровым, бодрым, веселым ощущал участковый себя ночью и потому в молодой первозданной свежести воспринимал все, что происходило вокруг. Хорошо светила Анискину луна, пела по-молодому далекая гармошка, как бы к нему тянула лунный зигзаг Обь.

Гармошка пела волнующее: рассказывала, как собирались комсомольцы на Гражданскую войну, как пожал он подружке руку и глянул в девичье лицо; про небольшую рану, про мгновенную смерть рассказывала гармошка, и остановился Анискин, так как о его молодости, о нем самом пела гармошка. «Смешной я, но хитрый! – подумал участковый. – Ведь знал, когда Генкин арест обозначить – на ночь!» Помолодел от гармошки, стал даже красивым участковый уполномоченный Анискин!

Генкин дом стоял на окраине. Висел на старой ветле за-

сохший скворечник, в хлеве тревожно помыкивал недавно подкастрированный бычок, сплошным золотом лежала на окнах лунная печать. Двор заполняли тени – отбрасывал их журавль-колодец, маленькие кладовочки и стаечки, чуланчики и подчуланчики. Словно сами по себе, а не от луны жили во дворе дома эти тени, серовато-темные, словно не лунные. Анискин подошел к дому, долгим взглядом посмотрел на него. «Эх, Митрий, Митрий!» – подумал он.

Никто в деревне не знал, почему, но в скворечнике дома Дмитрия Пальцева и его сына Генки никогда не селились скворцы. Взмолнованные, нервные птицы прилетали с юга в родные края, в драке и спешке занимали подряд все скворечники в деревне, а вот скворечник пальцевского дома облетали. «Эх, Митрий, Митрий! – опять тоскливо подумал Анискин. – Милльоны людей советская власть взяла в себя, а ты как был, Митрий, подкулачником, так им и остался!»

Участковый без скрипа открыл плотную высокую калитку, вошел во двор, волоча за собой серовато-черную тень без ног. Тень наискосок прошила двор, вильнула меж чуланчиками и сараюшками, замерла возле большого сарая. В открытые двери охотно и уверенно залезал лунный свет, матово высвечивая внутренность. На этой матовости виделись две зеленые точки и одна белая полоска.

Войдя в сарай, Анискин понял, что это такое – две зеленые точки и одна светлая полоска. Оскалив белые зубы, с остекленевшими глазами сидел на перевернутом корыте

Генка. Он держал в руке матово-тусклый пистолет, рука неловко согнулась, так что неизвестно было, куда направлено оружие. Когда проскрипел и замер по песку Анискин, ствол пистолета повернулся к участковому. Повернулся и замер.

– Убью! – сказал Генка.

Обнажив зубы, Анискин нехорошо улыбнулся.

– Не убьешь! – сказал он. – Раз не ушел, значит, не убьешь! Ты такой же трус, как твой отец... Потому я решил тебя еще попытать – сможешь ли ты стать человеком? Нет! Я даже краешком мысли не думал, что ты уйдешь, потому и дал тебе условие... Теперь вижу, что тебя надо отдавать под расстрел! Убийцы от нас не уходят...

Косолапой, неторопливой походкой, шаркая задниками стоптанных сандалий, участковый пошел на Генку. Шел прямо на зияющий зрачок пистолета, шел большой, толстый, похожий на загадочного восточного бога.

Луна над Обью

1

В субботу после бани кузнец Юсупов пришел к участковому уполномоченному Анискину. Пропарился кузнец на шесть рядов, но угольной гари отмыть, конечно, не смог, потому глядел на свет божий синюшными, как у негра, глазами. Руки кузнеца, привыкшие к клещам и молоту, на свободе болтались, точно привязанные, и он их прятал за спину.

– Так что будь здоров, товарищ Анискин! – поздоровался кузнец и покашлял. – Если, к примеру сказать, ветра не будет, то завтра большая жара прибежит. Сегодня калил листовую сталь, так шип мягкий – это к жаре...

– Каротель жру! – ответил Анискин. – Врачи приписали: мясо не ешь, рыбу не ешь, масло не ешь... Это рази жизнь? – вдруг рассердился участковый и рачьими глазами посмотрел на кузнеца.

Солнце не то садилось, не то еще пыталось удержаться на белесом июльском небе; никаких лучей по горизонту не бродило, так что время казалось неопределенным – то ли три часа дня, то ли шесть вечера. Анискин посмотрел на солнце, на старый осокорь возле дома, время, конечно, не определил

и подумал рассерженно: «И когда это люди успевают в бани ходить!» После этого он бросил морковку на землю.

Они молчали, наблюдая за рыжим петухом. Тот боком-боком, словно не по делу, подходил к огрызку морковки. Смотрел петух в сторону, в чужую ограду, а подошедши к морковке, замер, нагнав на глаза пленку. Хитрый был петух, бросовый, расторопный только насчет чужих куриц, и Анискин сердито свел брови, но поздно – в ту же секунду петух подскочил, изогнувшись, клюнул морковку, взлетел на выщипанных крыльях – и ни морковки, ни петуха... Анискин дернул губой и сказал:

– В суп!

– Все может быть! – подумав, согласился кузнец. – Я ведь к тебе по делу, Анискин.

– Ко мне без делу народ не ходит! Давай докладай.

На крутой излучине Оби серебряной рыбой барахтался уходящий пароход «Пролетарий», березы и сосны на берегу стояли в немости, солнца в небе по-прежнему не было – растеклось, расплавилось оно по белесому куполу. Стояла на месте – ни текла, ни струилась – река Обь, полтора километра от берега к берегу.

– Струмент и запчасти пропадают! – стеснительным шепотом сказал кузнец. – Уж не скажу за шестеренки, вчерась целую ось стебанули. Так дело пойдет, мне вскорости в кузне только картохи варить останется...

– Так! Вот так!

Повернувшись, участковый посмотрел на кузнеца насквозь и внутрь, приподняв одну бровь, смерил его взглядом с ног до головы, улыбнулся непонятно и, сложив руки на громадном пузе, стал покручивать пальцами. Сперва он крутил их по солнцу, потом против солнца, затем вертел без всякого смысла.

– Докладай! – недовольно сказал Анискин. – Воруют с умом или без ума?

– Тут как сказать, тут если к примеру...

– Не разговаривай, докладай!

– Кто ворует, тот человек, конечно, не глупой, ежели рассуждать. Вот тут какая история...

Запутавшись, кузнец сбросил руки с коленей, взмахнув ими, сбился, – непривычны были его руки к свободе от клещей и молота, мешали кузнецу.

– История, история, – передразнил Анискин. – Это тебе не молотом махать, а докладывать... Теперь молчи и отвечай. Из чего воровано, ты машину можешь сладить? А?

– Каку машину?

– Любу!

– Никаку машину я из ворованного сладить не могу! – вдруг весело сказал Юсупов. – Ху ты, господи, да каку машину сладить можно, если берут что попададя...

Кузнец опять взмахнул руками, стал даже подниматься с места, радуясь тому, что понял Анискина, но участковый посмотрел на него строго:

– Если сел, то сиди! Руками не маши.

Слоноподобен, громоздок, как русская печь, был участковый уполномоченный Анискин, от жару красен лицом, словно перезревший помидор; думая, он сдвигал пышные брови, глаза по-рачьи тарасил, и кузнец Юсупов почувствовал, как страх заползает в его грудь. Страшно было оттого, что рачьи глаза участкового мысли его прочли, точно были написаны они крупными буквами на линованной бумаге. И кузнец перестал дышать, и виновато спрятал глаза, и тихо-тихо сказал:

– А вчерась прихожу в кузню, горн еще теплый.

Как только он произнес эти слова, Анискин быстро повернулся к кузнецу и отрывисто вскрикнул:

– А?!

После этого участковый занял прежнее положение и сделался таким спокойным, точно никаких событий не происходило. Он ласкающим взглядом посмотрел на серебряную загогулину Оби, увидел, что солнце все-таки опадает на сиреневую черточку горизонта, что по реке тащится лодка-завозня, над кедрачами проступает прозрачная льдинка месяца.

– Вот что, Юсупов, – медленно сказал Анискин. – Ты теперь вали себе домой. Домой, говорю, вали, так как мне вопрос ясный...

Кузнец поднялся с лавки, затолкал руки за спину, глядя на Анискина исподлобья, стал пятиться задом к калитке. Как на нечистую силу, как на бабу-ворожею смотрел Юсупов на

участкового Анискина, и казалось, вот-вот поднимет кузнец руки и осенит себя крестным знаменiem: «Свят, свят!»

— До свиданья, до свиданья, дорогой! — махал рукой участковый.

Когда кузнец окончательно ушел, Анискин, выпучивая глаза и отдуваясь, стал выстукивать пальцами грозный и непонятный марш. Тарабанил он громко и четко, как нанятый. Потарабанив минут пять, подмигнул сам себе и встал. В три громадных шага он приблизился к дому, остановился возле открытого окна. Послушав тишину, Анискин подергал губами, застегнул все пуговицы на рубахе и спиной прислонился к бревенчатой стене.

Минуты две он шарил ногами по раскаленной земле, наконец нашел сандалии и сам себе улыбнулся.

Гулко прищлепывая сандалиями, он двинулся к калитке.

2

Минут через сорок участковый остановился возле домика с покосившимися воротами, минуту подумав, принял глазом к щелочке меж досками. Хозяйки дома Алевтины Прокофьевой в ограде он не увидел, да и увидеть не ожидал, так как она утром на ближних покосах копнила сено. Зато во дворе находился ее сын Виталька — парень лет шестнадцати. Он сидел на тесовом крылечке и, низко склонив голову, скреб железом о железо. Над длинным носом парня мотался белый

чуб, ниже оттопыривались крупные мальчишеские губы.

– Механик! – шепотом сказал Анискин.

Минуты три участковый стоял неподвижно, разглядывая двор и Витальку – хоть и одним глазом смотрел он, но приметил, что двор чисто подметен, летняя плита выбелена, лебеда и лопухи скошены, а оба сарайчика и стайка подлатаны новыми досками. Все это, конечно, произвел Виталька, так как Алевтина и молоток в руках держать не умела. Анискин хмыкнул, отстранился от щелки и почесал указательным пальцем нос.

– Холера! – сказал он.

Анискин сел на скамейку возле ворот, расставил ноги, расстегнул три пуговицы на рубаше, повернул лицо к реке, хотя она по-прежнему прохладой не дышала; стеклянной, расплавленной казалась Обь, и смурно, тяжело сделалось Анискину. Стояли перед глазами яркие заплаты тесин на старом заборе Прокофьевых, вился белесый Виталькин чубчик. Анискин снова тяжело вздохнул и так почмокал губами, словно раздавил на зубах терпкий стебелек полынь-травы.

– Язва! – выругался Анискин.

Вжикало железо об железо на дворе, сам по себе кряхтел старый дом, попискивало в горле у Анискина. «Жизнь! – думал он. – Река течет, солнце светит, комар летит. Жизнь!» Анискин косился левым глазом на ветхий прокофьевский домишко и вспоминал, что недавно – господи, совсем недавно! – хвалился дом на всю улицу белизной стройных ворот,

вздыбленной крышей, широкими окнами в синих наличниках. А теперь... Проникла в грудь Анискина холодная льдинка, перевернулась с болью под сердцем и медленно-медленно, как вода в сапог, вошла в него.

Минут десять просидел Анискин на лавочке Виталькиного дома, потом тихонечко прищипнул зубом, поднялся и неохотно, точно сам себя вел за шиворот, пошагал к воротам. Возле них опять постоял немножечко – смурной, тяжелый.

– Хозяева, а хозяева, – после молчания негромко позвал он. – Кто есть живой?

За вжиканьем железа Виталька голос участкового не слышал, и потому Анискин сам открыл маленькую калиточку, полез в нее, пыхтя и причмокивая.

– Ну, здорово, Виталька! – негромко произнес участковый.

Железо вжикать перестало. Приподняв голову, Виталька увидел участкового, и произошло такое, от чего Анискин открыл рот: Витальки на крылечке вдруг не стало. Вот сидел он и вжикал железом об железо, а вот – его нету. От такого чуда Анискин тонко присвистнул.

– Ну петух! Спортсмен! – покачав головой, сказал он. – Бегун!

Анискин сел на крылечко, положил подбородок на руки и протяжно зевнул – хорошо было на прокофьевском дворе. Занятая колхозными делами, Алевтина куриц, свиней, гусей и прочую живность вывела, бабскими бирюльками заборы не

запакостила, чистоту блюда, и от этого душе было просторно. Поэтому Анискин еще раз зевнул и подумал: «Аккуратная баба Алевтина, хоть и без мужика живет. И Виталька пацан хороший – ишь как убег!»

– Подожду! – сонно пробормотал Анискин. – Мне чего!

Виталька возвращался, видимо, босиком, так как стука ботинок не слышалось, но участковый уловил натруженное сопенье. Это парнишка так притомился, убегая. Потом в дверях стайки показались белесый чубчик и край синей рубахи, неосторожно выставленные Виталькой, когда он выглядывал.

– Знает кошка, чье мясо съела! – негромко сказал Анискин. – Знает! Бегун, спортсмен... Сопреешь в стайке-то. От тепла навоз горит и сам тепло дает...

Подбородок Анискина по-прежнему лежал на руках, потому слова он произносил невнятно, жеванно, но тон был добродушный и сонный – слышалось по голосу участкового, что сидеть на крылечке он собрался долго. В стайке громко запыхтели, что-то грохнуло, и Виталька боком выдвинулся на свет.

– Бегаешь ничего, ударно! – сказал Анискин. – Если капусту испоганил, мать тебя за это по головке не погладит.

– Я другой стороной бежал, – сорванным голосом ответил Виталька. – Картохами...

– Ну, ну! Иди сюда.

Глядя в землю и жалко поводя шеей, Виталька прибли-

жался к Анискину на манер кролика, замордованного глазами змея-удава. Вот сделал три шага, четыре, вот поднял голову и дальше пошел так, словно двигался по тонкому тросу, висящему над землей. Вспотевший лоб у парнишки был большой, как у недельного телка, и Анискин улыбнулся.

– Спортсмен! – сказал он. – Ты рубаху-то не жуй, рубаха денег стоит... Садись рядом со мной, отдышись и нос вытри...

Отвернувшись от Витальки, участковый опять положил подбородок на руки и закрыл глаза. Сладко ему было, прохладно от тени на крылечке, но мысли приходили грустные. Он думал о том, что дерево – непрочная штука, коли за тридцать-сорок лет дома оседают в землю, а ворота скашиваются. «Кирпич, конечно, прочней, – размышлял Анискин. – Если бы на Черной речке брать глину, то кирпичом хоть завались, но председатель по молодости лет не понимает... Эх, председатель, председатель!» О кирпичах и председателе Анискин думал минут пять, потом, не поворачиваясь к Витальке, сказал:

– Тебе, Виталька, воровать нельзя: у тебя вся правда на морде написана!

Участковый еще минуту подумал, вздохнул и медленно поднял голову с рук.

– Ну ладно! – сказал он. – Теперь ты меня туда води, где железо и разные шестеренки.

– Ой! – вздохнул Виталька. – Куда это?

– Веди, ве́ди!

И пошел Виталька впереди Анискина к сараю, и открыл дверь, и прошептал ватными губами:

– Сюда...

Анискин вошел в темный сарай, остановился, пригляделся, ничего не поняв и не разобрав, начал шарить рукой у себя под задом. Он нащупал чурбачок, сел на него и внезапно тонко ойкнул.

– Матушки! – пробормотал он. – Родненькие!

В сарае стояла машина, похожая одновременно на велосипед, жнейку, стрекозу и паука. Стоять-то она стояла, но это только казалось в первый момент, потом же Анискин почувствовал, что голова у него кружится, кружится, так как машина уже мерещилась висящей в воздухе, хотя она и не висела: еще через секунду все сходства пропали, и машина походила только на стрекозу, и от нее на лицо повеяло ветром, нанесло прохладой. Анискин зажмурился и отчаянно повторил:

– Матушки!

Когда же он снова открыл глаза, то машина опять стояла на земле, ударяя в глаза четыремя загнутыми лопастями, яркими фанерными хвостами, прозрачным от ребер мотором и лихо вынутым стеклом из плексигласа. Две автомобильные фары бросали розовый отблеск, и от этой розовости машина казалась вся алой.

– Что такое? – спросил Анискин. – Что, спрашиваю?!

– Геликоптер.

Розовые отблески по-прежнему били в лицо участковому, он стал отвертываться от них и отвернулся бы, если бы не понял, что это отражается в фарах солнце, которое, уже склонившись к закату, пробивалось розовыми лучами в щели сарая. Поняв это, Анискин от розовых бликов уклоняться не стал, потряс головой и хрипло пробасил:

– Что же это делается? Матушки!

Посмотрев на машину, Анискин закрыл глаза и сразу прикрыл пять или шесть тайных милицейских дел. Ничего не видел он и, конечно, не заметил, как Виталька подошел к нему, как вытянул дрожащую руку и положил на плечо участкового.

– Дядя Анискин! – жалобно прошептал Виталька.

– Анискин, Анискин, Анискин, – как эхо повторил участковый. – Эх, Анискин, Анискин!

Именно на участкового смотрели со странной машины фары от колхозного грузовика, плексиглас от председателя левой моторки, подмигивал белой свечкой мотор от милицейского мотоцикла, а позади смеялся аккумулятор от старой колхозной трехтонки. Сразу четыре покражи глядели на Анискина ясными глазами. И он снял руку парнишки со своего плеча, так как жгла его Виталькина рука, давила пудовой тяжестью. Сердце заходило у участкового, когда видел он белый чубчик и светлые мальчишечьи глаза.

– Сядь, не дыши, молчи! – вяло сказал Анискин. – Сиди,

как сидишь!

Горестно, как на последний осенний пароход, что уносит по Оби музыку и теплое шипенье пара, глядел Анискин на висящий в воздухе мотор. Что из того, что снял его Виталька со списанного мотоцикла? Все равно целый месяц участковый не мог сунуть носа в райотдел, а когда все-таки совал по неотложной надобности, то от стыда другим участковым в глаза не смотрел.

Три месяца рыскал Анискин по деревне в поисках аккумулятора, фар и плексигласа, но ничего не нашел, а только перессорился с добрым десятком мужиков, запятнав их напраслинными обвинениями. С ног до головы припозорился Анискин на этих загадочных делах, а вот оно... что... Стоит посередь сарая чучело не чучело, машина не машина и светит Анискину в глаза автомобильными фарами. Сидит рядом парнишенка Виталька и уже без всякого страха лупает глазами, стараясь понять, чего это участковый вздыхает, чего уронил голову на грудь. Эх, жизнь-копейка!

– Виталька ты, Виталька! – горестно сказал Анискин. – Чего же ты это со мной произвел, чего же ты такое над дядей Анискиным выстроил! Эх!

– Дядя Анискин, – позвал Виталька. – Дядя Анискин!

– Ну что «дядя Анискин»! Дурак твой дядя Анискин. – Участковый заглянул парнишке в лицо, поцыкал зубом и опять уронил голову на грудь. Молчал он, наверное, минуту, потом тихо-тихо сказал: – Ведь отчего я вора найти не мог?

А оттого, что такую машину и во сне не придумать. Я что искал? Мотор украли – на лодку-моторку, фары свистнули – опять же на лодку-моторку. Я всех рыбаков в мýку ввел с этим делом. Дружков в подозрение имел. Эх, жизнь, жизнь!

– Арестуй меня, дядя Анискин! – тонко сказал Виталька. – Вяжи меня – я во всем виноватый!

– Вяжи?

Усмехаясь, Анискин вернулся к чурбачку, удобно устроился на нем, стал глядеть на Виталькину машину. Солнце, видимо, садилось – прозрачные лучи проникали в сарай, рассыпавшись, охватывали вертолет со всех сторон; казалось, что машина тает, вздымается на колесах, делается легче воздуха, а краски набирают силу. Только теперь увиделось, что стоит машина на трех колесах – одно от детской коляски, а два... два от того же списанного милицейского мотоцикла – и что колеса стоят на земле так легко и зыбко, словно меж ними и землей просвечивает воздух. А потом Анискин увидел такое, отчего сердце екнуло: бензиновый бак от старой кинопередвижки.

– Ах, Виталька ты, Виталька!

Анискин почувствовал к себе горькую жалость и вяло подумал: «Свольнять меня надо с работы! На пенсию меня надо, сукиного кота!»

– Ты в каком классе? – тихо спросил Анискин.

– В десятый перешел.

– Английский изучашь или немецкий?

– Английский.

Казалось, в фарах зажглась маленькая лампочка и колола лучиками Анискина в глаза, а вторая фара – подмигивала. Поэтому Анискин на месте больше сидеть не смог, поднялся и пошел по сарайчику, сам не зная зачем, сам не зная почему. Он потрогал носком сандалии землю – сухая и твердая, пощупал пальцами гвоздь, вбитый в стену, – теплый и шершавый, поднял с верстака несколько книг. Светло было в сарайчике, но участковый прищурился, когда читал заголовки: «Теория крыла», «Математический анализ», «Кибернетические системы», «Соппротивление материалов».

– Дела! – сказал Анискин.

Он перелистнул книгу с названием «Теория крыла», приблизил страницу к лицу, секунды две-три смотрел на незнакомые значки и буквы, но голова пошла кругам, в глазах зарябило, хотелось гладить себя по затылку и сосать нос. Свободы хотелось, вольного воздуха, простору.

– Виталька ты, Виталька! – тихо повторил Анискин. – Я ведь никогда бы не поймал тебя, если бы про горн не услышал. Тут я сразу скумекал, что это дело неразумного мальчишки. Никакой мужик не станет в кузне озоровать, ежели состоит при воровстве.

– Шестерню на вал насаживал, – колуя землю ботинком, ответил Виталька. – Без кузни нельзя...

– Виталька ты, Виталька!

Во все глаза смотрел Анискин на парнишку, – прикиды-

вал так и эдак, но ничего особенного не видел: тоненькая шея, мальчишечий кадык, пухлые губы, светлые от честности глаза. Мальчишка как мальчишка, а вот поди же ты... «Захочет – может по-английски заговорить!» – вдруг подумал Анискин и неожиданно для себя спросил:

– Полетит?

– Должна полететь! – тихо ответил Виталька. – Считана.

Опять повернулся Анискин к машине, теперь смотрел на нее спокойными, глубокими глазами. Он разглядел четыре лопасти, клеенные из разноцветного дерева, пропеллер меж фанерными хвостами, велосипедное сиденье и разноцветные маковки рычажков. И пахло тоже основательно – бензином, краской и машинным маслом.

«Полетит машина, – подумал Анискин, – возьмет себе и полетит!» Затрещит мотор, закрутятся клеенные лопасти, замельтешит малюсенький пропеллер на хвосте; сядет Виталька Прокофьев на велосипедное сиденье, чего-то нажмет, чего-то подкрутит и – полетел, полетел! Машина поднимется над кедрачами, просвистит над деревней, повиснет стрекозой над Обью. Высоко-высоко повиснет машина над рекой, и Виталька Прокофьев увидит всю Обь, и старый осокорь, и разрушенную мельницу, и молодые березы над покосившимися крестами деревенского кладбища...

Так запечалился участковый уполномоченный Анискин, что застилала глаза влажная пелена. Ослеп он и, шатаясь, вернулся на чурбачок, шепча про себя: «На пенсию меня по-

ра, на пенсию!» А что еще делать с человеком, у которого со двора крадут мотоциклетный мотор, который смотрит на шестнадцатилетнего мальчика и ничего в нем не понимает?

– Эхма, жизнь, жизнь!

Вспомнил Анискин, что в прошлом году его не записали в кружок английского языка, а на политзанятиях майор говорил: «Кое-кому этот материал можно пропустить!» Понятно теперь это «кое-кому», понятно. На пенсию, на пенсию пора! Сдаст Анискин наган и удостоверение, фуражку и милицескую шинель, вернется домой и скажет: «Вот я! Принимай, Глафира!» Белых куриц разводить – вот чем займется Анискин. Таких белых куриц, каких недавно привезли в совхоз Тельмана...

– Как белые курицы называются? – досадливо спросил он Витальку. – Те, что в Тельмане?

– Леггорн, – ответил Виталька.

«Леггорн!» Язык свертывается в трубочку, дыхания не хватает, когда произносишь такие слова, а парнишенка так и чешет: «Леггорн, леггорн!» Все они знают, эти молодые, да ранние – отпечатки пальцев берут, анализы разводят, версии разрабатывают, фотографируют, проявляют, следы линейкой меряют, в лупы смотрят. Молодые, ученые! Найдет такой молодой да ученый человеческий волос, глянет на него сквозь стекло и: «Рост сто восемьдесят шесть, на один глаз косой, левая нога короче правой...» Конечно же у такого мотор от мотоцикла не уведешь.

– Арифметика! – вслух сказал Анискин. – Химия!

– Лопасты собирал на синтетическом клее... – протяжно ответил Виталька.

Клей у них синтетический, системы кибернетические, матрасы поролоновые, стекла плексигласовые, по-английски кумекают. Нет, нет, куриц разводить, как в совхозе Тельмана! Каждый день – яйцо, петухи – спокойные, грязи курицы боятся, потому что...

– Как белые курицы называются? – крикнул Анискин.

– Леггорн!

Мать твою перемать! Стоит Виталька перед Анискиным, носом хлюпает, штаны держатся на одной пуговице, губы распустил, передние зубы кривые, а ведь вот... Лопасты, винты, мотор, сиденья – все как полагается. И полетит.

– Молчи! Не разговаривай! – прикрикнул Анискин.

– Я молчу, дядя Анискин!

В последний раз посмотрел участковый на машину – долго и спокойно, просто и буднично, оценивающе и критически. Теперь он увидел, что машина покрашена неровно, фанерные хвосты со щелями, под мотором – лужица масла, а на левой фаре змеевидная трещина. Потёки клея на лопастях приметил участковый, обратил внимание на то, что кособочит машина на трёх колесах.

– Бензин есть? – спросил он негромко.

– Есть.

Анискин застегнул все пуговицы на рубашке, расчесал пя-

терней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая. Потухающие солнечные лучи все еще проникали в щели, и когда участковый шел, они то вспыхивали, то гасли на его широкой спине. Возле дверей Анискин остановился, не повертываясь к Витальке, сказал:

– Полетишь в воскресенье!

Анискин открыл дверь, сопя и прицыкивая зубом, выбрался во двор, плюнул на траву и скорым шагом пошел на улицу. Он не останавливался до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучий, громоздкий.

– Ишь ты! – шепотом сказал он реке.

Солнце совсем ушло за горизонт, только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой, небо было темно-сиреневым, а над головой Анискина, клонясь к старому осокору, висела прозрачная луна. Анискин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точки.

– Эхма! – вздохнул участковый. – Жизнь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.